

с. 2

ФЕЛЬЕТОНЪ „ОДЕССКАГО ЛИСТКА“
3-го Декабря 1891 года.

Журнальное обозрѣніе.

На этот разъ придется утѣшать себя по журнальнымъ обозрѣніямъ, а скорѣе газетнымъ, потому что я найду въ нихъ-то съчастіемъ съ читателемъ о новой повѣсти г. Чехова „Дуэль“, которая была напечатана въ газетѣ „Новое Время“. Г. Чеховъ изумительно, какъ читательница, конечно, повѣсти, въ крѣпости нашей молодой беллетристической публики; этого было бы, разумеется, совершенно достаточно, чтобы критика не имѣла права пропустить безъ вниманія его новое произведение, хотя бы и напечатанное въ газетѣ. Но существовать еще и другою поводомъ обратить вниманіе на его новую повѣсть. Дело въ томъ, что объ этой повѣсти говорили еще давно; сначала говорили о романѣ, который, будто бы, писалъ г. Чеховъ; потомъ, оказалось, что это повѣсть. Еще тогда въ литературныхъ кружкахъ Петербурга сложилось мнѣніе, что новую повѣсть г. Чехова написать данъ, такъ сказать, генерализированную баталію, которая должна была доказать, что онъ вполне оправдываетъ тѣ „высокія надежды“, которыя возлагали на него уже несколько лѣтъ, на него, какъ критики, такъ и публики. Въ виду этого обстоятельства, мы легко поймемъ, что кажда повѣрливый слухъ съ живымъ интересомъ ожидалъ появленія повѣсти, и какъ только она стала появляться въ „Фельетонѣ „Одесскаго Времени“, сталъ ее внимательно читать.

Но знавъ, извѣстна ли какое-либо основаніе имѣли литературныя кружки, о которыхъ я только-что упомянулъ, но о г. Чеховѣ, дѣйствиительно, г. Чеховъ имѣлъ право дать свою повѣсть эту генерализированную баталію, то во всякомъ случаѣ не получивъ ожидаемой имъ помощи. Я вовсе не хочу этимъ сказать, что повѣсть эту, во всякомъ случаѣ, злоба, дурно, наприимеръ, его предвѣтъ вещей, — именно. Повѣсть интересна, написана имѣетъ талантливо, въ ней видна рука, не-таки, снѣтскаго беллетриста, который умѣетъ разсказать своими материалами и пользуется ими искусно. Но... онъ и на этот разъ остался только при ожиданіи; противъ ожиданій, хотя бы и болѣе-широко, онъ мало все-таки много другого не далъ. А между тѣмъ, давно уже пора, чтобы онъ ожиданія обманулъ; г. Чеховъ имѣетъ несколько лѣтъ, и въѣднѣй имѣетъ у него,พอสมควร, есть. Онъ имѣетъ и чувствуетъ природу, онъ легко и умѣло съчастіемъ индивидуальности черты человека, и въѣднѣй у него прорисованы черты, но проваломъ является жене, а также прѣдѣлы восточнаго струй-а. Если бы, имѣлось-бы, совершенно дѣлать, чтобы сказать къ него

такаго-то беллетриста, и не только талантливо, но даже такого, котораго произведенія имѣли-бы въ некоторомъ значеніи. А между тѣмъ, analyzing-то эти произведенія и по выбору: какъ читатель не быть удовлетворенъ, по временамъ говорить о томъ, что авторъ талантливъ, что онъ пишетъ „большія надежды“, а прочитавъ и получивъ некоторое эстетическое удовольствіе, — авторъ забудешь и произведение, и его автора, и даже почувствуешь потребности ближе познакомиться съ авторомъ. И, дѣйствиительно, г. Чехову чего-то не достаетъ, быть-же-то да въ талантливо беллетристическое произведение не имѣетъ таланта d'élite. Но, что это такое, — довольно трудно сразу высказать.

Содержаніе повѣсти очень незначительно, даже въ смыслѣ фактическихъ событій, и его легко передать въ несколько словъ. Мы на Кавказѣ; въ примерскомъ городкѣ, который ближе не обозначается, происходитъ дѣйствіе. Тутъ, съ первыми-же строками повѣсти, мы знакомимся, во-первыхъ, съ докторомъ Самойленко, — добродушнымъ человекомъ, съ виду грубоватымъ, но доброй душой; внутреннею онъ человекъ деликатный, снѣтскаго, добрый, но какъ-бы стѣсняется отъ своихъ положительныхъ качествъ, и на словахъ бываетъ грубоватъ. О каждомъ изъ своихъ друзей и знакомыхъ онъ величайшаго ума человекомъ; это, такъ сказать, его постоянная поговорка. Все это авторъ съ начала объясняетъ намъ отъ себя, а затѣмъ и въ снѣтскаго выдерживаетъ отъ характеристично. Ничего другого въ докторѣ Самойленко мы не находимъ. Это, какъ видите читатель, — совершенно заведенный (такъ сказать, трафаретный) типъ добродушнаго грубина. Некоторый эстетическій вкусъ автора обнаруживается только въ томъ, что этимъ типомъ онъ не слишкомъ злоупотребляетъ, а оставлять его какъ-бы въ тѣни. Во-вторыхъ, — Лавочкинъ — главный дѣйствующее лицо въ повѣсти. Приемъ характеристично тотъ-же самый. Онъ весь сразу виденъ ити-перво-же разговорѣ съ Самойленко. Себя онъ такъ характеризуетъ: „Я отлично знаю, что ты не можешь мнѣ помочь, но говорю тебѣ потому, что для нашего брата, неудачника и лишняго человека, все спасеніе въ разговорахъ. Я долженъ обобщить каждый свой поступокъ, я долженъ находить оправданіе своей лишней жизни въ чьей-нибудь теоріи, въ литературныхъ типахъ, въ томъ, напримеръ, что мы, дурные, маркитансы в прочее...“. И такъ, г. Лавочкинъ — это очень давно знакомый намъ типъ лишняго человека, созданный еще Тургеневымъ, типъ резонера тургеневской первой школы, итти-перво Гамлета Ширинскаго убѣда, только не дальшаго и съ некоторыми возможными словечками, въ родѣ

Спенсера, дарвинизма и проч. Но и на этого лишняго человека какъ-будто повѣло неимѣть времени, — онъ по временамъ негладко блещетъ отъ пылкой итти-перво, но его жалеть къ прирѣдѣ. Видно, что онъ читаетъ Льва Николаевича Толстого, котораго, по временамъ тургеневская „Дѣлится людей“, еще не было. Впрочемъ, это только внешній окраска, а психологическая сущность все остается та-же, тургеневская. Опять-таки, какъ видите, — некоторый литературный хламъ. Третье дѣйствующее лицо — натуралистъ Фонтъ-Корсень. Это, какъ и подобаетъ психологу натуралисту, материализмъ по инстинктамъ, человекъ примитивный, но терпимый головастиковъ въ родѣ Лавочкина, и недоусваивающій никакихъ компромиссовъ съ совѣстью. Но правда-ли, и это — хорошо забытая намъ литературная фигура? Гдѣ вы ее встрѣчали? — О, очень часто, когда вы прохаживаетесь по садамъ русской беллетристики, старой и новой. У г. Фонтъ-Корсена такъ много литературныхъ родственниковъ, что затрудняется на кого указать, какъ одолеваетъ эмбаргасъ de riches. Специфическая особенность Фонтъ-Корсена заключается въ томъ, что онъ — какъ-бы предстательство самого автора; г. Чеховъ судитъ людей и высказываетъ его устами; онъ — итти-перво въ родѣ хора древней трагедіи. Итти-перво маленькій образчикъ теоретическихъ выводовъ г. Чехова, то бишь, г. Фонтъ-Корсена: „Гуманитарная наука, о которой вы говорите, тогда только будетъ удовлетворять человеческую мысль, когда въ движени своемъ онъ встрѣтится съ точными науками и пойдетъ съ ними рядомъ. Встрѣтится-ли онъ подъ микроскопомъ, или въ микроскопѣ новаго Галлея, или въ воюющей религіи, я не знаю, но думаю, что земля покроется ледяной порою раньше, чѣмъ это случится. Самое стойкое и живучее изъ всѣхъ гуманитарныхъ мнѣній, это, конечно, ученіе Христа, но, посмотрите, какъ оно различно понимается! Одни учатъ, чтобы мы любили всѣхъ ближнихъ и дѣлали, при этомъ, исключеніе для солдатъ, преступниковъ и безумныхъ; другие они радуются убивать на войнѣ, итти-перво — исключать или казнить, а третьи — запрещаютъ вступленіе въ бракъ. Другіе толкователи учатъ любить своихъ ближнихъ безъ исключенія, но различныя классовъ и манусовъ. Но ихъ ученіе, если къ намъ приходитъ буржунный, или убійца, или эгоистичекъ и съчастіемъ вашу дочь — отдавайте; если крестина идуть войной на фанатички и умеренно адеповъ — подставляйте головы. Эта проповѣдь любви ради любви, какъ искусство для искусства, если-бы могла имѣть силу, въ концѣ-концовъ, привабливаетъ человечество къ позному эмбаргасу, такъ-же образомъ, совершается-бы грандиознѣешее изъ злодѣйствъ, какъ когда-

либо бывали на землѣ. Твореній очень много, а если ихъ много, то серьезная мысль не удовлетворяется ни однимъ типомъ и къ намъ въѣднѣй такъ-же отплатить прибавить свое собственное. Поэтому, никогда не ставьте вопроса на философскую, или, такъ сказать, эстетическую почву: отвѣтъ на только отдаленно отъ рѣшенія вопроса“. Разговоръ происходитъ и Фонтъ-Корсень, для котораго, собственно, и написана эта разговора, разинуть свою мысль. „Въ образцѣ, что вамъ удалось вынуть изъ дамъ гуманиста итти-перво въѣднѣй переработанной, рудиментарной формѣ. Что произойдетъ отъ этого? Трудно, потому что нужно убивать, останутся въ живыхъ, будутъ съдѣла медь, разрабатывать (?) и думать ничто, — въ результатѣ преобладающее слабыхъ вѣдъ сильными и ирождение послѣднихъ. Тогда самое производящее теперь и съ частіемъ: слабые гнетутъ сильныхъ. У дѣларей, которые еще по коснулись культуры, снѣтскаго силный, мудрый и самый нравственный — въ вперед: онъ вождь и властный... — Но какой у васъ критерій для различія сильныхъ и слабыхъ? — Знаніе и осведомленіе. Вурочничать и золотушничать узнаютъ по ихъ болѣзняхъ (?), а безнравственныхъ и суеверныхъ — по поступкамъ. — Но видъ возможны ошибки! — Да, но нечего бояться промочить ноги, когда угрожаетъ потопъ. — Это философія, размышленіе дилетантъ. — Никакого. Вы до такой степени похорошели, зашедшей семинарской философіей, что во всемъ хотите видѣть одинъ только туманъ. Эстетическая наука, которая имѣетъ сама молодая голова, потому и развивается естественнымъ, что онъ отыскается намъ умъ отъ осведомленности. Смотрите въ глаза чорту прямо, и если онъ чортъ, то и говорите, что это чортъ, а не дѣлите къ Канту или къ Гегелю за объясненіемъ“. Снѣтскаго-бы, для полноты картины, упомянуть еще о другихъ дѣйствующихъ лицахъ, — о дѣларей, Кирилловъ, Шошниковскій, Ачмановъ, но такъ какъ они присутствуютъ въ повѣсти только въ видѣ декораціи и такъ называемыхъ персонажей, то объ нихъ я не стану распространяться. Считаю, однако, необходимымъ упомянуть еще объ одномъ дѣйствующемъ лицѣ, о вѣднѣй Надеждѣ Одероннѣ, замужней женщинѣ, брошенной мужемъ и теперь живущей съ Лавочкинымъ. Въ ея индивидуальности замѣтны тѣ же черты, что она чувствительна; она убоина, что — она самая красивая женщина въ городѣ; она постоянно испытываетъ чувствительную жажду, ей хочется плакать и говорить по французски. Надо отдать справедливость г. Чехову, — эта лишняя фигура не принадлежитъ къ трафаретнымъ литературнымъ: Надежда Одероннѣ есть созданіе, индивидуальное и исключительно ему, но отъ этого она не лучше, дѣ и созданіе-то... Что имѣетъ какое

премудрое было в том, что в прежние времена такими атрибутами надбавляли писатели свидомо падших женщин, продававших, а г. Чехов надбавил им порядочную женщину, ибо, несмотря на все, она порядочная женщина, как читатель убеждается в конце повести.

Съ мнѣшми Фонт-Корена я познакомил читателей потому именно, что въ нихъ, такъ сказать, выказана программа повести: я вѣдь уже сказалъ, что Фонт-Коренъ,—ничто въ родѣ хора греческой трагедии; онъ—alter ego г. Чехова и устами его говоритъ авторъ. Собственно и разговоры-то Фонт-Корена съ дьяволомъ написаны съ исключительной цѣлью объяснить смыслъ и значеніе повести. Событія разигрываются на фонѣ этихъ мнѣшій Фонт-Корена и Фонт-Коренъ поправляетъ ихъ. Какъ рассказать это содержание? Очень трудно, потому, что оно... бесконечно. Посудите сами: Лавский живётъ съ Надеждой Оедоровной, но она ему надоела, онъ хочетъ отъ нея отдѣлаться, убѣжать въ Петербургъ, и не знаетъ, какъ это сдѣлать: у него денегъ нѣтъ. Онъ хочетъ занять у Самойленки; Самойленко обѣщаетъ дать, но съ непременнымъ условіемъ, что Лавскій уйдетъ съ Надеждой Оедоровной, ибо по чести, по мнѣшию Самойленки, бросать женщину, съ которой жить. Между тѣмъ, дѣло усложняется: Фонт-Коренъ, считающій Лавскаго трутнемъ, котораго могъ изгребить, швыряется надъ нимъ. Происходитъ недѣлая сцена у Самойленки, результатомъ которой является вызовъ Фонт-Корена. Дуэль происходитъ на другой день: Лавскій выстрѣливаетъ въ воздухъ, а Фонт-Коренъ цѣлится съ намереніемъ убить Лавскаго, но промахивается. Все это до такой степени потрясаетъ Лавскаго, что онъ совершенно преобразованъ: перестаетъ играть въ карты и пьянствовать, сводитъ дома и работаетъ и, наконецъ, женится на Надеждѣ Оедоровнѣ, сознавая, что онъ виноватъ передъ нею. Все это мы узнаемъ въ послѣдней главѣ повести, когда Фонт-Коренъ убѣждаетъ Фонт-Коренъ видѣть, что ошибся въ Лавскомъ, что Лавскій исправился и идетъ поправить съ нимъ, высказывая ему искреннее уваженіе. Тѣмъ повесть и кончается. Въ повѣсти, впрочемъ, есть еще одно событіе, которое никоимъ образомъ не касается самой сущности, которая и составляетъ одну изъ причинъ дуэли, но которое, тѣмъ не менѣе, довольно любопытно. Надежда Оедоровна, однажды, находясь въ периодъ сильныхъ чувственныхъ возбужденій, дѣлаетъ невѣрность Лавскому,—и дѣлаетъ это въ грубой, отвратительной формѣ. За нею приволокнута офицеръ Кириллинъ; она принявъ его однажды въ постель, въ отсутствіи Лавскаго и, такъ сказать, безсознательно, безъ любви, отдается ему; но потомъ очнувшись, увидѣла, что сдѣлала мор-

зость и избѣгаетъ Кириллина. Кириллинъ—грубая скотина; онъ ее преслѣдуетъ и требуетъ, чтобы она назначила ему свиданіе, ибо, въ противномъ случаѣ, онъ все разскажетъ Лавскому. Надежда Оедоровна испугалась, назначила ему свиданіе, но другой ужасиватель, Ачминъ, ведетъ Лавскаго на это свиданіе и Лавскій присутствуетъ при немъ, спритавшись... Все это случилось наканунѣ дуэли и, конечно, еще болѣе разстроило Лавскаго. Что хотѣлъ сказать г. Чеховъ этою грубой сценой—но ясно; совершенно очевидно, что она не могла обусловить собой перерожденіе Лавскаго; она не пужа и оставляетъ пренебрежительный диссонансъ въ повѣсти.

Да и вообще,—пенкому читателю, прочитавшему повесть, невольно навязывается вопросъ: что хотѣлъ сказать своею повѣстью г. Чеховъ? Зачѣмъ она написана? Какой она имѣетъ смыслъ? На подобные вопросы, безъ которыхъ никакая критика обойтись не можетъ, наши беллетристы имѣютъ привычку отвѣчать просто устранимемъ отъ насъ вопросы, какъ совершенно неимѣя по отношенію къ искусству. У насъ на этотъ счетъ есть цѣлая теорія, правда, совершенно первобытная и даже безмысленная, но она вояется съ нами какъ съ писанною торбой, потому что она имѣтъ чрезвычайно удобна и оправдываетъ рѣшительно все, что-бы намъ ни вдумалось намарать на бумагѣ.

— Понималито, говорятъ они, какъ можно требовать отъ художественнаго произведенія какой-то абстрактной идеи, какого-то школьническаго тоизма, который художникъ обязанъ, будто-бы, разрѣшить своимъ произведеніемъ. Тамъ, гдѣ есть талантъ—уже нѣтъ искусства; искусство свободно, безсознательно и вся его цѣль—воспроизводить жизнь, явление. Вотъ и все. А тамъ, гдѣ писатель зацѣпляется какой-либо теоріей, тамъ уже не художество, но поэзія, не искусство, а тенденція.

Совершенно очевидно, что эта квазитеорія—нелѣпость, но очень удобна для тѣхъ, въ наше печальное время—весьма многочисленныхъ, беллетристовъ, у которыхъ въ головѣ гуляетъ вѣтеръ, которые не способны имѣть какую-либо мысль, которые тѣмъ не менѣе сражаются аудою писательства. Для нихъ-то и создана эта теорія: ниши, молъ, брать, что медулетомъ,—тебѣ нѣтъ запретовъ, ибо искусство свободно и безсознательно; лучшее, что ты можешь сдѣлать, это—фотографировать, списывать едени, изображать тины, или другой фактъ действительности,—а будешь-ли въ этомъ фактъ какой-либо смыслъ и значеніе,— по все-ли равно. Ты жрець искусства в тебѣ не касается не только философія (ну, какая философія у г. Чехова, иририри?), но даже и простой здравый смыслъ!—А когда отнимъ господать бел-

летристика указываетъ на крупныхъ писателей, которыхъ, вѣдь и онъ уважаетъ,—указываетъ, чтобы не хотѣть далеко и въ яморскіе края, на Тургенева, Достоевскаго, Толстого, Гончарова, то они только махаютъ рукой и ничего не отвѣчаютъ. Изъ крупныхъ писателей не указка.

Но у г. Чехова нѣтъ и этой,—прямку сказать, желѣной отговорки. Правда, онъ до сихъ поръ считался „шотландъ“ художникомъ, онъ былъ хроникъ искусства въ родѣ искусства, онъ только снималъ сценки или бесѣдовалъ съ ними съ беллетристической формѣ о своихъ чувствахъ. Но въ послѣдней повѣсти онъ отступилъ отъ этой точки зрѣнія, совершенно вѣрно разсудилъ, что опущеніемъ да побесѣлка не создашь себѣ репутаціи крупнаго беллетриста. Совершенно очевидно, что въ своей послѣдней повѣсти онъ хотѣлъ стать на новую почву. Въ тѣ пространствѣ, теоретическіе разговоры, которые ведутъ некую собою действительная жизнь, и которыми замолена повесть,—доказывать это. Но и въ своей конструированной повѣсти заимѣю желаніе, явнымъ услимъ, сказать нѣчто. Все центръ тяжести—въ Лавскомъ, и Лавскій—одна изъ тѣхъ литературныхъ типовъ, которые имѣютъ, если можно такъ выразиться, общественное значеніе. Нужно вѣтъ, что этого типа замѣтновать у Тургенева, что онъ такъ старъ и истерикантъ, какъ отчая казона, — въ повѣсти г. Чехова, очевидно, имѣриваемъ шунить новия вѣшанъ,—тѣхъ современнѣхъ намъ людей, которые теперь парокдуютъ подъ влияніемъ новизны умственикъ запросовъ русскаго современнаго общества. Совершенно несомнѣнно, что именно это и хотѣлъ сдѣлать г. Чеховъ,—по новизнаго общественнаго типа онъ намъ все-таки не покажетъ: очевидно, черты этого типа ему самому еще очень неясны, и въ своемъ безсиліи онъ просто влезъ стараго „лишняго“, человекка, наивѣшнаго Тургенева, надѣвъ на него новіи костычки изъ обрывковъ ученія графа Толстого и представлявъ намъ его какъ современнѣхъ общественный типъ. Дѣло конечно, не вышло.

Но, чтобы быть повнѣтъ справедливымъ, нужно прибавить, что въ деталяхъ—повѣсть г. Чехова не лишена таланта; въ ней есть страннѣе положительно прекраснѣе и въ г. Чехова видѣтъ даже, не иривенантъ, психологъ, хорошій, талантливый наблюдатель. Въ этомъ отношеніи, повѣсть сцены вызова—прекрасно доказала; очень хорошо точно также г. Чехова имѣтъ изображать внутреннее душевное состояніе Лавскаго въ ночь передъ дуэлью, эта сцена—положительно истерически замаска.

С. Пирогов.

В. Луиго.